

Сергей Николаевич Сергеев-Ценский

В грозу

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
С32

С32 **Сергей Николаевич Сергеев-Ценский**
В грозу / Сергей Николаевич Сергеев-Ценский – М.: Книга по Требованию,
2012. – 58 с.

ISBN 978-5-4241-3020-5

Стиль Сергеева-Ценского отличает яркая образность; его описания природы, изображения характеров и батальные сцены богаты сравнениями и метафорами

ISBN 978-5-4241-3020-5

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

Сергеев-Ценский Сергей
В грозу

Сергей Николаевич Сергеев-Ценский

В грозу

1

Был голод, но, привыкшие к умиранию, люди умирали молча. С каждым днем пахли все больше и больше, недоуменно пробуя свои руки, ноги, подглазья, налившиеся голодной водой, и умирали, проделав перед смертью тысячу ненужных штук, - ритуал умирания, бесплодно попрошайничали друг у друга, бесплодно осаждали исполкомы, здравотделы, собесы; собирали ягоды боярышника и шиповника, улиток, молодую траву; походя воровали, бесцельно таща все, что попадало под руку; по ночам уводили и резали чужих лошадей, коров и коз; соблюдая еще прежнее человеческое достоинство, выпрашивали у знакомых кошек "на одну только ночьку, - пожалуйста, - а то, знаете ли, мышцы одолели" - и жадно съедали их; ловили собак на улицах, нарочно раззадоривая их и заманивая в укромные углы; воровали по ночам трупы из часовни на кладбище; охотились за чужими детьми, но бывали случаи, что ели и собственных.

Один татарин из деревни Аджилар, отец шестерых детей, бестрепетно резал младших ножом, как барашков, и кормил ими старших и жену, кормился и сам. Двое старших, подростки, годились уже для работы, а от маленьких какой толк? Расчетливый татарин этот продержался так недели три, но проходивший мимо отряд пристрелил людоеда и его жену, а подростков только избил до потери сознания и бросил. Очнувшись, старший немедля убил младшего, и никому по уходе солдат из всей деревни Аджилар не было дела, в вареном виде ел он труп брата или сырым. Когда нашли труп старшего, костяк младшего около, прикрытый мешками, был обглодан.

Это было в беспечном Крыму, где еще так недавно, казалось, сам воздух пел и смеялся, а горы еще и теперь оставались прежними курчавыми, красивыми горами и море прежним, только совершенно пустынным морем.

К весне появились обычные здесь весной стаи камсы, и начали выезжать на баркасах в море стрелять дельфинов. Толпами сходились тогда к пристани голодные и жалостно просили у дельфинников потрохов. Потрошили дельфинов тут же, и в толпу бросали кровавые внутренности. В общей свалке разрывали их в клочья и съедали сырым. Бывали случаи, что в подобной свалке сталкивали иных с пристани в море.

Вылезли на улицу обычно крепко сидевшие по домам татарки и меняли свои чадры и медную посуду на хлеб. Они были страшны - черные, костлявые, говорящие только на своем кудактающем языке, блистающие тускло большими от худобы, ошеломленными глазами.

И вообще люди перестали уж походить на обычных людей: лица желтые, скулы обтянутые, взгляд исподлобья, отчужденный, когда каждый человек кругом - враг; ходили медленной пьяной походкой, движениями рук заметно помогали шатким ногам.

Часто попадалась опаленная и даже прожженная до больших дыр одежда: это холод, от которого голодное тело била крупная дрожь, гнал людей как можно ближе к огню железных печек, и долго не чувствовали, как начинали тлеть их лохмотья.

Умирали взрослые, но иногда не успевали умереть вслед за ними дети и оставались. Их собирали в "очаги", где их нечем было кормить; зато надевали на

них одинаковые белые колпаки, сшитые из скатертей и салфеток с вышитыми на них красными полумесяцами и звездами у татар и одними только пятиконечными звездами у русских.

Голодные, сначала требовательно плакавшие, потом понявшие, что их некому кормить, они всюду распозлись, чтобы самим добыть что-нибудь поесть. Они толпами сновали по безлюдному почти базару, карауля покупателей. Вид хлеба приводил их в неистовство. Уставшие выпрашивать, они кидались на тех, кто, счастливцев, покупал хлеб в лавочке, вырывали из рук и мчались толпою прочь. За воришками бежал ограбленный, крича, и если нельзя было убежать, тот, в чьих руках была краюха, падал на нее ничком, и ел, ел, ел, совершенно не чувствительный к побоям.

Они были везде, эти голодные воробы, и воровали все: пирожки с лотков и чайных столиков (весь базар почему-то состоял из одних только чайных столиков), камсу с баркасов у пристани, хотя рыбаки говорили, что они - не море, и гоняли их палками; муку из мешков, случайно провозившуюся на подводах.

Если нельзя было украсть, копались в помойных ямах, и там выискивали разные вонючие отбросы; отрясали и ели горький миндаль, уцелевший кое-где на деревьях в заброшенных садах. Находя копыта палых лошадей, недоеденные собаками, грызли и их.

Тревожно ищущими, серьезнейшими, совершенно взрослыми, даже старыми, даже древними глазами стали вдруг все детские глаза. Никакой шаловливости, никакой наивности, никакого непонимания, никакой радости, никакого лукавства... И ничто уж не пугало теперь их, этих детей, и нигде и ни в чем уж не было для них никакой тайны.

Иные, постарше, сговаривались по-двое, по-трое идти в деревни, где, слышали они, не может не быть хлеба. И они уходили и шли длинными белыми крымскими шоссе, всюду натываясь на трупы взрослых, полузанесенные снегом, пока не добирались до деревень, откуда их гнали, и под которыми незаметно для себя умирали они от крайней усталости в бредовом сне.

Так лет двенадцать назад, в холодную снежную зиму погибла вся зимовавшая здесь птица, и когда стаял снег, везде по дорогам валялись птичьи трупы, лежавшие ничком, носами в землю.

2

Максим Николаевич, бывший столичный адвокат, ныне секретарь суда в этом игрушечном городке у моря, куда попал он совершенно случайно, спасаясь из голодной Москвы, думая отсидеться в глуши, пока жизнь не наладится снова, и он снова не будет столичным адвокатом, - где он женился и потом застрял на маленькой дачке жены, Максим Николаевич прожил кое-как с семьей и осень 21-го года и даже зиму.

Правда, это была трудная зима. Бывали дни, когда секретарь суда не знал, что он будет есть: паек задерживали месяцами, жалованья не платили.

Все же Максим Николаевич исправно, без пропусков ходил в суд, писал повестки на оборотной стороне разных старых, использованных раньше лоскутков, даже бутылочных ярлыках, заготовленных когда-то большими здесь винными подвалами и теперь переданных для надобностей суда; собирал в папки, - форменные синие, оставшиеся от мирового судьи, - показания свидетелей, подготавливал дела к разбору, вел протоколы на заседаниях, записывал решения, - все это

добросовестно, серьезно, крупным, каждую букву в особицу, почерком, хотя ясно для него было, что, несмотря на множество дел о грабежах и кражах, на безупречных свидетелей и очевидных преступников, - виновных все-таки не было и никто никого не имел права судить.

В свободное от суда время он работал около дома, рубил для печки дрова и, как все кругом, продавал и менял на хлеб вещи, какие еще оставались у него от прошлого.

Правда, в сорок с небольшим лет он уже поседел слегка в висках и несколько лохматых усах и стал весь какой-то сквозной, совсем невесомый... Еще и разлетайка старенькая уцелела у него от лучших дней, и когда шел он по улице, длинный, в заштопанной уже, но широкополой серой фетровой шляпе, казалось: вот-вот сейчас взмахнет крыльями разлетайки, подыметесь и полетит, что совершенно даже ничего и не стоит это ему - сразу отделиться от земли и полететь, бросив наземь самое тяжелое, что при нем было: портфель с судейскими бумагами.

Уже и весенние жаркие дни настали, зацвели поздние груши и яблони, а лицо у него ничуть не загорело, и можно было сосчитать на нем все синие жилки, и излучалось от него то, что всегда излучается от подобных лиц: благообразие, кротость и даже какая-то нездешность.

Когда-то блиставший красноречием, он говорил теперь в суде мало, коротко и совсем неохотно; но у себя дома он распускался, шутил иногда со своей женой и иногда рассказывал что-нибудь веселое, трогательное или просто занимательное двенадцатилетней девочке Мушке, а Мушка слушала его не только широко серыми глазами, но больше всего открытым полнозубым свежим ртом.

Два передних верхних резца, рубчатых, крупных и круглых, несколько набежали друг на друга, и это особенно нравилось в Мушке Максиму Николаевичу; и когда Мушка зачарованно открывала рот, он больше всего глядел чуть прищуренными карими глазами не в ее верящие серые глаза, и не на ее тонкокожие с легким румянцем, северные щеки, и не на белые, мягкие прямые, тонкие, паутинно-тонкие волосы, и не на вздернутый кончик подвижного небольшого носа, даже не на синеющую овальную ямочку на подбородке, а именно на эти два крепких, крупных, круглых, крутых резца, несколько набегающих крышечкой снизу друг на друга.

Мушка была дочь его жены от первого мужа, - горного инженера, случайно убитого махновцами, напавшими на поезд, когда он ехал к семье из Харькова в Крым. Он был убит, - жена и девочка остались, и Максим Николаевич, всю жизнь одинокий, прилепился к этому осколку семьи уже здесь, в Крыму.

И вновь получилась дружная семья, по-прежнему небольшая. "Вы, Максим Николаевич" - был он для Мушки, "вы, Максим Николаевич" - звала его и жена, как он звал ее - "Ольга Михайловна, вы..." - и постороннему с первого взгляда казалось, что в этой семье и близости не было, однако же была и близость, и взаимное уважение, и даже любовь.

Точно спаслись от кораблекрушения трое: двое больших и маленькая, и поселились на пустом острове, и все трое стали совершенно необходимы друг другу, и не из-за чего было им ссориться, так как все зародыши ссор погибли в момент катастрофы, и не было труда привыкать друг к другу, потому что и не к кому было бы привыкнуть еще, если остров был необитаем.

Ольга Михайловна была высокая сильная женщина лет тридцати двух, в детские годы такая же белокурая, как и Мушка, теперь темноволосая, но с серыми круглыми, как у Мушки, глазами. И когда Максим Николаевич в первый раз назвал маленькую Марусю, Муру, - Мушкой, та тут же прикинула себя к матери и сказала:

- Значит, мама - большая муха.

Это было три года назад.

3

Ольга Михайловна кончила курсы и консерваторию в Москве, написала работу о Чаадаеве и до Октябрьской революции была учительницей словесности и музыки в одной из харьковских гимназий, а маленькая Мушка, тогда еще восьмилетка, бодро ходила с ранцем из тюленьей кожи в гимназию и после обеда - в музыкальную школу, ретиво выдавливая гаммы на рояле, а в праздники читала Робинзона и Дон Кихота... И была яркая радость брать хотя бы и неуверенно свою отчетливую гамму там, где из-под пальцев взрослых лились целые потоки звуков и то ошеломляли, то приводили в восторг, то вызывали слезы... Когда играла Ольга Михайловна сама для себя, что приходило на память, иногда отрывки сонат, и, уставая, подымалась и закрывала крышку рояля, к ее ногам бросалась маленькая Мушка, вся потрясенная, и умоляла: Мама!.. Милая мама, - еще!..

А отец ее, инженер, любил читать Пушкина вслух, и этот курчавый широколобый поэт, с толстой бритой верхней губой и бакенбардами, был совершенно живой для нее, для маленькой Мушки, и сколько стихов его знала она наизусть!

Это было тогда, раньше, когда бывали елки на Рождество, радостные Пасхи, гости, игрушки, конфеты, ездили на Кавказ, - а там на лошадях по изумительной Военно-Грузинской дороге; одно лето, уже во время войны, прожили в тихой Финляндии...

И вот - только маленькая дачка над морем, и ничего нет из того, что было раньше: ни рояля, ни портрета Пушкина на стене, ни большого крепкого папы...

Есть четыре грядки: одна - лук, другая - капуста, третья - бурак, и потом смешанная: салат, укроп, помидоры... Их надо поливать по вечерам, а днем всячески беречь от двух кур: Пучи и Чапы... Пуча - Пучеглазка, а Чапа это если сказать Пуча наоборот. Обе черные с желтыми воротничками, но у Пучи гребень кустом, у Чапы - листом; и такие обе проворные, что залезут куда угодно, если недосмотреть... Ах, Пуча и Чапа: они хитрят целый день, чтобы залезть на грядки, но они несутся, и их нельзя резать: сто тысяч рублей стоит теперь одно яйцо, и когда снесется Чапа в сарае и идет, важно кудахча, перед ней за себя неловко... И Пуча такая разговорчивая: ко-ко-ко, ко-ко-ко, и на разные лады, - то выше, то ниже, то реже, то чаще... это, конечно же, что-то значит, только нельзя понять, как стихи футуристов после Пушкина...

Иногда прибегает Бобка, - он же Жук, и есть еще у него несколько имен, в каждом доме, куда он прибегает кормиться, свое, - единственная собака, уцелевшая от голодной зимы, черный полугончак, с сединою на морде. Даже и основной хозяин его, татарин Эреджеп, говорит о нем с уважением: "Савэтска жизь, - как иначе будишь?.. Тут да один паек, там да один паек, еще там да один

паяк... двадцать один паяк - помалу-помалу живой будишь!.."

Бобка тоже умеет говорить что-то... Прибегая, он кладет голову на колени сидящим за столом (он знает, когда кто обедает) и начинает вертеть обрубленным гладким хвостом, тыкаться носом в колени, смотреть нестерпимо умными глазами (желтыми, как янтарь) во все человечьи глаза и скулить так выразительно, точно силится сказать длинную речь о своем собачьем голоде, об ужасе перед смертью, о своей щемящей жуткой, темной тоске... Поневоле отщипнешь от последнего куска и скажешь: - На, Бобочка, ешь!.. - Бобка мгновенно проглотит, подождет еще, поскулит, повертит хвостом, полежит у ног, уткнувши голову в передние лапы, наблюдая сразу за всеми, не кинет ли кто хоть обглоданную кость; поймает трех мух на лету и тихо, вежливо уйдет со двора, а потом со всех ног помчится куда-то дальше, в обход всех своих кормильцев, порадовать их видом умной собаки, единственной оставшейся в живых. Веревки он совершенно не выносил, и даже слово это "веревка" его пугало и заставляло настороженно подымать голову и подозрительно оглядывать всех.

Кроме Чапы, Пучи и Бобки - и это самое главное, - была Женька - молодая еше, по первому телку, черная, белолобая и с белым передником коровка.

Это Максим Николаевич, когда совсем пришлось туго в декабре, вынул последнее, что еще имел, - большие золотые часы с толстой цепочкой - и на них выменял Женьку. Сено тогда от засухи не уродилось и было очень дорого, коровы дешевы, и можно было выменять Женьку за два пуда муки, но где же было взять столько муки?

Идти за Женькой пришлось Ольге Михайловне за пятьдесят верст пешком при сильном ледяном нордосте, почти сбивавшем с ног... Были попутчицы, две женщины, тащившие вино в ведерных бочонках для обмена на хлеб. Шли вместе, пока одна не залякла от холода и усталости и не легла отдохнуть на свежий снежок под буком, но больше уже не встала. И другая женщина, перекрестившись и поплавав, взяла ее мешок с бочонком (не пропадать же вину), однако нести двух мешков не могла, - упросила Ольгу Михайловну помочь... Так дошли до того города, где можно было обменять вино на хлеб и золотые часы на корову и где на улицах приходилось так же переступать через трупы, как и на шоссе.

Идти отсюда домой и гнать корову оказалось еще труднее. На шоссе была перестрелка с бандитами, и пришлось свернуть в сторону верст за семь и ночевать в деревне, где не было ни одной хаты без большого сypняком.

Ночью, при сильной стуже, в метель, Ольга Михайловна приютилась в дырявом трехстенном сарайчике, припавши к боку своей улегшейся Женьки, чтобы было теплее. Устала до последнего, но боялась заснуть, помня ту, которая не проснулась.

А когда утром кое-как выбралась по снегу снова на шоссе, опять по обочинам его наткнулась глазами на трупы, только это уже были не голодные, а убитые в перестрелке бандиты и красноармейцы. Тут же стоял и пост из шести человек.

Домой пришла совершенно босая, так как раскисли от влажного снега и совсем сползли с ног туфли; потом болела несколько дней, но все-таки без этого не завелась бы в доме корова, которая должна была недель через пять отелиться и давать молоко.

Так как это было последнее, за что можно было ухватиться, чтобы не утонуть теперь при новом всеобщем потопе, то на Женьку чуть не молились. Понятен

стал древний Египет с его аписами: так сближаются иногда эпохи, разделенные тысячами лет... Пасти Женьку приходилось по балкам, где с дубовых кустов не сорвало еще ветром желтых, оставшихся зимовать листьев, где была еще сухая чахлая трава; и Мушка, храбро кутаясь в дырявое ватное розовое одеяло, подпоясанное веревочкой, пасла ее днем, а на ночь успевала набирать для нее мешок той же травы и листьев. Зимой балки были таинственны, и за каждым изгибом их чудился притаившийся грабитель.

Стояла Женька в комнате, соседней со спальней: это - чтобы услышать через тонкую стенку, когда за нею придут грабители. У Максима Николаевича было охотничье ружье, но на него не возлагалось больших надежд, и Ольга Михайловна, для бегства в случае налета, проделала ход из кладовой на чердак и несколько раз вдвоем с Мушкой повторяла эту сложную историю: ставила на стол табурет, с табурета открывала в потолке дверцу, пробиралась потом по темному чердаку и вылезала через слуховое окно наружу...

Голод и страх - из этого состояла зима, - страх за себя, страх за корову - вдруг ляжет, не выдержит, - очень худа, - или начнет телиться и не растелится, - страх и голод, какие владели людьми только в доисторические времена.

Когда должна была телиться Женька, несколько ночей дежурили, - все боялись, что не растелится.

Но Женька растелилась, улучив для этого время, когда устали дежурить.

Однажды утром первая вошла к ней Мушка и увидела в полутемной комнате что-то очень много черных ног, толстых и тоненьких, - тут же догадалась, что это значит - теленок, - и, может быть, не один, а больше, - и, выбежав, пронзительно закричала:

- Мама, иди скорее!.. Иди же!.. Да иди же!..

Все трое столпились около Женьки, и Женька тихо мычала, а теленок (он был один) повернул ко всем толстенькую белую мордочку, и всем показалось, что это - бычок.

И два дня потом, в общей сумятице и радости и возне с Женькой, был он бычком, пока не оказался телочкой. И хотя молока Женька начала давать мало (очень опухло вымя) и хорошо было бы зарезать и съесть теленка, но как же было резать такую милую, доверчиво всех толкавшую белой мордочкой, маленькую, курчаво-черную телку?

За то, что толкалась, называли ее Толкушкой.

- Только бы февраль, а уж в марте трава пойдет, - да, мама?.. Толкушка будет пасться.

Мушка чуть не плакала, глядя на всесильного Максима Николаевича, и тот сказал наконец:

- Что ж... будем кормить как-нибудь... Пусть живет...

От радости Мушка завертелась по комнате волчком, перекинулась через лопу на диване, кричала "ура", и потом из коровника слышалось ее умиленное:

- Ты ж мое Толку-Толку!.. Ты ж мое золотое, ты ж мое изумительное Толку-Толку!

Потом:

- Ты знаешь, мама (это шепотом), от него молочком пахнет и такие у него ушки мягкие, как шелк!..

Странно: два дня пробывшая в бычках, Толкушка так и осталась наполовину

бычком, когда о ней говорили: чаще называли ее Толкун, а Мушка сокращала и в среднем роде:

- Толку ты мое шелкоушенькое!..

Иногда голодной зимой этой Ольгой Михайловной овладевала тоска. Она стояла, расширив неподвижные глаза, и шептала:

- Боже мой, боже мой!.. До чего же мы дожили, боже мо-ой!..

Потом вдруг брала французскую книжку и звала:

- Мура!.. Мура!.. Иди сюда!.. Пиши диктант!..

Мушка недоуменно и с ошибками, сердившими мать, выводила то, что диктовала она из Сегюра: - Aussi ne parle-t-il, qu' a la raison de tous, ou au veritable interet de chascun... и, постукивая ручкой по крепким зубам и надувая нижнюю губку, говорила:

- Ведь мы все равно не уедем за границу...

- Уедем! - уверенно отзывалась мать.

Это была мечта Максима Николаевича и ее: во что бы то ни стало уехать. Долгие бессонные ночи отдавались только этим мечтам, и золотые часы береглись для этой поездки - только ужас голодной смерти заставил их обменять на корову; но ехать думали поздней весной или летом, когда ту же корову можно было обменять на золото снова. Наконец, мог ведь предстаться и такой счастливый случай, что кто-нибудь купил бы - пусть всего только за двести - триста франков - и дачу.

После французского Ольга Михайловна хваталась за немецкий, потому что ехать пришлось бы через Германию... Но в Германию думали попасть через Польшу, почему были у них польские дни, когда говорили: "Пшепрашим", "вшистки едно", "дзенькую, пане!"...

Максим Николаевич был скорее созерцателен, чем практичен, скорее верил, чем знал, и больше недоуменно разводил руками, чем возмущался. И если вначале он растерялся до того, что уехал из Москвы, бросив свою уютно обставленную квартиру на Поварской, то теперь он как-то чисто по-русски начал свыкаться с неразберихой и даже говорил полушутя, полусерьезно: "Где ничего не поймешь, где неудобно, и грязно, и тесно, - вообще убого, - и стопудовая ругань, и перед носом кулак в шерсти - это русское!.. Но главное, чтобы ничего нельзя было понять!.."

Он даже как-то спокойнее стал, чем прежде. Прежде жизнь напоминала бега и скачки или карточную игру: в ней был и риск и азарт, и всегда куда-то спешили, - смотрели на часы, чтобы не опоздать даже на минуту. Теперь спешить было некуда, обгонять некого, желать нечего (все равно - желай не желай) и редко кто был так несчастлив, чтобы соблюдать часы: на повестках суд назначался в семь утра, а начинался в десять и позже, - когда придется: кто же теперь ходит с часами?

И, подготавливая к разбору и выслушивая изо дня в день бесконечную судейскую канитель, он привык говорить о русских несчастьях: - Это что-то зоологическое! - хотя книги по зоологии казались ему нестерпимо скучными; зато увлекалась ими Мушка.

Ей некому было указать, какие именно осы, из тех, от которых она отбивалась в летний день, - схолии, какие сфексы, и водится ли здесь зловредная муха-антракс, которая кладет свои яички в пчелиные соты, но это было не так важно:

даже и приблизительно и неверно, по одной только своей догадке названные, они были изумительны, каждая по-своему... даже те козявки, каких она находила на своем огороде.

Землю под огород, твердую шиферную глину, она копала сама, сама же разбивала и грядки, почему вышли они значительно косые, - сажала, полола... Четыре грядки эти были для нее такою радостной заботой...

Как удержаться, чтобы не погладить рукой салат?.. Густой-прегустой, яркий-преяркий, сочный-пресочный, - он был ее первым любимцем. Он сразу прядал в еще жмурые глаза Мушки, чуть она вставала утром... А капуста!.. Бледно-зеленая, как крашенная жесть на умывальнике, она ширилась, что ни день, и по утрам на ее пружинистых, как подносы, круглых листьях сверкали капли... "Мама, ты посмотри, как моя капуста растет!.. С таким усердием, что аж потеет!"... Укроп и помидоры тоже были буйные и так пахли, что Мушка никак не могла удержаться, чтобы не зарыть в них лицо: - Ух ты! Хо-ро-шо!.. А отливные листья бурака с ярко-розовыми жилками!.. А лук, пускающий уже таинственные стрелки!..

Каждое утро Мушка резала на борщ свою зелень, важно приносила на кухню и клала на стол: - Вот!.. Но еще больше важничала, когда ей самой приходилось готовить или печь хлеба. Правда, она умудрялась тогда всесторонне выпачкаться в саже - и лицо, и руки, и платье, - но всегда могла доказать Максиму Николаевичу, что иначе нельзя: пусть попробует сам.

Материи купить было не на что, и Ольга Михайловна шила ей платья из татарских чандр; платья выходили очень цветисты - все в красных и желтых полосках и узорах, но самого простого покроя - вроде длинных рубашек с короткими рукавами. Хватало их на две, на три недели - так они были непрочны.

- Что же ты со мной делаешь, Мурка? - ужасалась Ольга Михайловна. Неужели нельзя осторожнее?

- Да, осторожнее, когда кругом кусты да держи-дерево!.. - плакалась Мушка. - Ну, я не буду ходить за дровами, не буду пасти Женьку, не буду искать Толкушку, - а то он залезет в самую гущину и ляжет, как так и надо... Вот тогда все будет целое!..

Покупать ей обувь было не на что, и она ходила босой; впрочем, ходила только в комнатах и на террасе, а на дворе бегала вприпрыжку... И танцевать любила, - и, найдя в кустах ровную лужайку, отовсюду закрытую, она напевала что-то свое собственное и танцевала с веткой в руке так самозабвенно, что долго не могла слышать, как звала ее мать. Впрочем, если и слышала, говорила: - Ну, я еще немножко... потом пойду.

И еще она любила море... С разгону вбегать в огромное, синее, чуть пенное у берега, - ловить пригоршнями хитроузорчатых студенистых медуз, копаться в разноцветной гальке, ища сердолики; собирать сухих морских коньков, лихо изогнувших шеи, а главное, нырять и плавать, надувая щеки, было для нее - блаженство. И за чем бы ее летом ни посылали в город, она приходила гораздо позже, чем ее ждали, и непременно с мокрыми волосами.

- Опять купалась? - спрашивала мать.

А она говорила, отворачиваясь:

- Я совсем немного: только окунулась и вылезла... Даже не плавала.

4

Откуда у нас эта странная способность летать во сне?.. Дневная зависть к